

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV

| «Осевое время» memory studies: российский след |

**ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV**

Россия, Москва.  
 Российский институт культурологии.  
 Зам. директора по науке. Кандидат исторических наук, доцент.  
 Зам. заведующего кафедрой культурологии  
 Московского педагогического государственного университета.

Russia, Moscow.  
 Russian Institute for Cultural Research.  
 PhD in History, Assistant Professor — Deputy-Director for  
 Research, Head of the Division for the Humanities.

[vasal2006@yandex.ru](mailto:vasal2006@yandex.ru)

## «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» MEMORY STUDIES: РОССИЙСКИЙ СЛЕД

Целью статьи является анализ вклада российской гуманитарной мысли в формирование первых научных программ в области memory studies в период 1920–1930-х гг.

Во второй половине 1920-х гг. французский социолог М. Хальбвакс и немецкий искусствовед А. Варбург ввели понятия коллективной/социальной памяти соответственно и сформулировали основные принципы и проблемы изучения этих феноменов.

В статье показано, что разработанные в это же время в российской науке культурно-историческая психология Л. С. Выготского и теория жанров М. М. Бахтина раскрывают те механизмы функционирования коллективной/социальной памяти, которые лишь обозначены в теориях М. Хальбвакса и А. Варбурга.

Вывод автора заключается в том, что концепции «Хальбвакса/Выготского» и «Варбурга/Бахтина» являются взаимодополнительными.

**Ключевые слова:** М. Бахтин, А. Варбург, Л. Выготский, М. Хальбвакс, коллективная память, социальная память, культурно-историческая психология, опосредованное действие, память жанра

### The "Axial Time" of Memory Studies: The Russian Trace

The main goal of the article is the analysis of the contribution of Russian humanitarian thought in relation to the first scientific programs in the field of memory studies in the 1920s and 1930s.

In the second half of the 1920s, the French sociologist, M. Halbwachs and the German art historian, A. Warburg, offered the concepts of collective/social memory, respectively, and formulated the basic principles and problems involved in the study of these phenomena.

The article posits that the cultural and historical psychology of L. Vygotsky, and M. Bakhtin's theory of genre, developed during the same time period in Russian humanities, highlight those mechanisms of functioning belonging to collective/social memory, which in the theories M. Halbwachs and A. Warburg were only briefly outlined.

The author concludes that the "Halbwachs/Vygotsky's" and "Warburg/Bakhtin's" theories complement one another.

**Key words:** M. Bakhtin, A. Warburg, L. Vygotsky, M. Halbwachs, collective memory, social memory, cultural and historical psychology, mediated action, memory of a genre

В 1902 году австрийский поэт и драматург Гуго фон Хофманшталь в одном из своих выступлений сказал об окружающих нас «нагроможденных слоях аккумулированной коллективной памяти». Слово было сказано. За памятью было признано внеиндивидуальное существование и сила внешнего воздействия на человека.

Интуиции, касающиеся власти прошлого над настоящим и необходимости принимать в расчет историю в наших современных действиях, витали в воздухе уже давно. Началу рефлексии на эту тему способствовала Французская революция, решительно разорвавшая линию исторической преемственности и объявившая о начале Нового мира с «Первого дня Первого года». Об этом говорил, например, Эдмунд Берк,

критикуя французских революционеров за пренебрежение историческим прошлым Франции при выработке программы социально-политических преобразований. Череда революций и реставраций во Франции и других странах наглядно показала власть прошлого, ставящего рамки даже для самых смелых экспериментов. Осмысливая эту ситуацию, Ф. Энгельс скажет, что каждая революция всегда забегает вперед, за пределы своих исторических задач и возможностей, то есть за рамки того, что ей позволяет наследие прошлого.

Футуристически ориентированный проект Модерна вдруг все явственнее начал ощущать силу прошлого, наследия, традиции, мощных сил гравитации, живущих в истории и затягивающих в себя подобно «черной дыре» самые смелые замыслы.



ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV

| «Осевое время» memory studies: российский след |

Математик Огюст Конт, анализируя состав человечества, которому предстояло стать объектом проектируемой им социологии, пришел к выводу, что состоит оно преимущественно из мертвых, а не из живых, которым приходится жить в мире, созданном для них бесчисленными ушедшими поколениями. О тяготеющем над умами живых «ночном кошмаре» традиций мертвых поколений говорил К. Маркс, остроумно замечая, что даже самые решительные революционеры в период эпохальных исторических разломов не могут обойтись без детского маскарада с переодеваниями в костюмы прошлого, заимствования слов и жестов далеких эпох.

Появились голоса, призывавшие контролировать эту власть и не допускать избыточного воздействия истории на современность. В 1874 году Ф. Ницше публикует размышления «о пользе и вреде истории» для жизни культуры, а в 1882 году Э. Ренан, говоря об условиях существования нации, рассуждает не только о необходимости «общего обладания богатым наследием воспоминаний», но и о благотворности, необходимости забвения, «исторического заблуждения».

Руины прошлого, о которых столь выразительно писал Г. Зиммель, возвышались среди настоящего, а современные люди все сильнее ощущали исходящий от них магнетизм. «Нисходят в душу лики чуждых сил и говорят послушными устами...». Это уже про архетипы коллективного бессознательного Юнга, идея о существовании которых также возникла как своеобразная неоромантическая реакция на фрейдовский прямолинейно-натуралистический просветительский рационализм. Фактически требовалось рационализировать то, что в соответствии с просветительской парадигмой находилось на грани или даже за гранью рационального. Le Norla, та же эпоха, Belle époque, Мопассан опубликовал этот рассказ в 1886 году.

Все явственнее перед культурой вставала задача осмыслить эту власть исторического прошлого. Хорошо выразил эту мысль неистовый борец за классическую рациональность в эпоху ее кризиса М. Вебер. Традиционное действие для него фактически не является социальным, поскольку лишено сознательного выбора и смысла для самого совершающего его субъекта. Этот тип действия формируется на основе подражания образцам поведения. Образцы эти находятся вне рационального осмысления и критики. Традиционное действие совершается автоматически, стереотипно, с ориентацией на закрепленные образцы и не предполагает свободы и новаторства. Оно находится «на самой границе, а часто даже за пределом того, что может быть названо «осмысленно» ориентированным действием»<sup>1</sup>.

Итак, как всегда это обычно и происходит, именно поэту выпало уловить и выразить в наитии слова для того, чтобы обозначить эту экзистенциальную озабоченность эпохи. «Нагроможденные слои» требовали своих геологов и археологов.

За поэзией последовала наука. В 1912 году вышла последняя книга Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», в которой он поставил вопрос о связи памяти, ее воплощения в телесных практиках и социальной солидарности. В связи с этим им было введено понятие «коммеморативного ритуала», служащего для активизации коллективной памяти и укрепления групповой сплоченности. В 1919 году была опубли-

кована диссертация представителя школы Дюркгейма, ученика А. Юбера, польского социолога С. Чарновского «Культ героев и его социальные основания». В ней он показал фигуру святого Патрика как «образ-воспоминание» ирландского народа, рассмотрел связанный с ней культ в качестве практики коммеморации, направленной на поддержание национальной идентичности. По другую сторону океана в это время американские социологи-основатели символического интеракционизма Ч. Кули и Дж. Г. Мид также рассуждали о социальном контексте воспоминаний, социальной роли образов прошлого в жизни общества и обратном воздействии процессов социальных трансформаций на коллективные представления об истории.

В итоге именно 1920-м годам суждено было стать «осевым временем» memory studies. Именно в это время появились первые целостные научные программы изучения коллективной/социальной памяти и возник соответствующий понятийный аппарат. Создателями этих концепций были признанные основоположники и классики memory studies французский социолог — представитель школы Дюркгейма Морис Хальбвакс и немецкий искусствовед, создатель иконологии Аби Варбург. Так или иначе, все современные дискуссии в области исследований коллективной/социальной/культурной памяти связаны с той проблематикой, которая была поставлена ими.

Обращение к истокам memory studies представляется сегодня чрезвычайно актуальным. Именно в последние годы социально-гуманитарные науки переживают подлинный «мемориальный бум». Происходит активная институционализация «мемориальных исследований», ведутся споры о степени интегрированности этих исследований в одну дисциплину, о существовании «мемориальной парадигмы» в науках о культуре.

Так, известный немецкий историк культуры, создатель теории «культурной памяти» отмечал в начале 1990-х годов, что сегодня сформировалась (или формируется) новая парадигма социально-гуманитарных исследований, связанная с понятиями «память», «воспоминание», «забвение», понятиями во внеиндивидуальном, социально-культурном аспекте.

Противоположная позиция была сформулирована в конце 1990-х годов. В 1998 году вышла статья Дж.К. Олика и Дж. Роббинса «Исследования социальной памяти: от «коллективной памяти» к исторической социологии мнемонических практик». В ней авторы определили memory studies как «непарадигмальное, междисциплинарное, децентрированное предприятие».

Промежуточную позицию заняли немецкие исследователи Г. Ехтерхофф и М. Саар. Во введении к коллективной монографии «Контексты и культуры воспоминаний. Морис Хальбвакс и парадигма коллективной памяти» они отмечали, что применительно к коллективной памяти понятие «парадигма» следует принимать не в «сильном», куновском смысле, предполагающим теоретическую революцию, разрешение старых проблем, изменение всей картины изучаемой реальности, деактуализацию старых вопросов и категорий. Как о парадигматическом о введении этого концепта следует, по их мнению, говорить лишь в «слабом» смысле, поскольку он позволил выявить новую область явлений и представить в новом ракурсе уже известные, но до сих пор совершенно иначе рассматриваемые феномены.

В опубликованной в первом номере журнала Memory studies в 2008 г. статье Дж. К. Олик вновь возвращается к про-

<sup>1</sup> Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. — с. 628.



блеме состояния и перспектив развития memory studies. Свое, высказанное десятилетием ранее вместе с Дж. Роббинсом суждение о «непарадигмальном, междисциплинарном, децентрированном» характере memory studies, он не подвергает пересмотру. Однако автор видит путь к преодолению этой ситуации через институционализацию, «интеллектуальную организацию» и «парадигматизацию» исследовательской работы в этой сфере. Важнейшим элементом этой работы, по мнению автора, должна стать выработка «канонического свода» классических текстов, с которыми сообщество могло бы себя соотносить. Собственно говоря, сегодня memory studies является хорошим объектом для самоанализа. В настоящее время сообщество занимается столь хорошо известным специалистам по этой проблематике поиском «корней» и «первопредков», конструированием образа истоков. Формирование нарратива своего происхождения и истории — неотъемлемая часть формирования любой идентичности, в том числе и идентичности научного сообщества. От результатов этого процесса зависит, как опять же хорошо известно исследователям коллективной памяти, характер коллективной идентичности сообщества.

Именно поэтому одним из важных направлений деятельности учёных, озабоченных институционализацией и «парадигматизацией» memory studies, является оформление «канонического» набора текстов и авторов, в первую очередь — основоположников, вокруг которых как вокруг общепризнанных авторитетов могла бы выстраиваться идентичность исследовательского сообщества.

Работы М. Хальбвакса и А. Варбурга занимают в этой родословной бесспорное и основополагающее место. Именно с их трудами практически все исследователи связывают сегодня переход от видения памяти как феномена индивидуально-го сознания, коренящегося в «глубинах духа» и представляющего собой статичное хранилище «следов» и «отпечатков» к пониманию того, что содержание памяти и его внутренняя организация определяется извне, при помощи инструментов, предоставляемых культурой, господствующим норм, социально-политического контекста и т. п.

Вклад российских исследователей этого периода в формирование интеллектуального пространства memory studies привлекает к себе существенно меньшее внимание исследователей. Он или не рассматривается вовсе, или рассматривается отдельно от идей А. Варбурга и М. Хальбвакса. В настоящей статье нам хотелось бы сосредоточиться на вкладе Л. С. Выготского и М. М. Бахтина в изучение внеиндивидуальных форм памяти и показать не только значимость и эвристичность их идей, а также не столько их созвучие поискам А. Варбурга и М. Хальбвакса, но в первую очередь взаимодополнительность отечественных и западных теорий. Нам представляется, что в работах Л. С. Выготского и М. М. Бахтина раскрыты конкретные культурные механизмы процессов формирования и трансляции коллективной/социальной памяти, описание и феноменологию которых представили М. Хальбвакс и А. Варбург. Думается, что настало время встречи и плодотворного диалога этих мыслителей в пространстве современных «мемориальных исследований». Таким образом, наше представление об истоках этой области культурологии станет более объемным и адекватным.

В основе идей М. Хальбвакса лежали свойственные школе Дюркгейма «социократические» представления об обусловленности всех индивидуальных проявлений человеческой личности социальным контекстом. Сам Дюркгейм рассматривал таким образом самоубийство, М. Мосс исследовал социальную регуляцию «техник тела», эмоций и, наконец, самой жизни и смерти человека. В основе этого лежала концепция Дюркгейма о существовании доминирующего над индивидуальным коллективного сознания. Используя этот подход М. Хальбвакс перенес анализ памяти из «недр духа», то есть оттуда, куда ее помещал его философский учитель А. Бергсон, в социальный контекст. «При чтении трактатов по психологии, трактующих о памяти, — отмечал он, — вызывает большое удивление, что человек рассматривается в них как изолированное существо»<sup>2</sup>. Хальбвакс же утверждает обратное. Ум реконструирует воспоминания под давлением общества. Память для него — частичное и избирательное воссоздание прошлого, рамки для которого задает социальная группа (а точнее — группы), к которым принадлежит индивид. Не нужно доискиваться, замечает Хальбвакс, где именно в моем мозгу находятся или в уголке моего ума находятся мои воспоминания. «Ведь мне напоминают о них извне, и те группы, к которым я принадлежу, в любой момент предоставляют мне средства для их реконструкции... В таком случае получается, что существует коллективная память и социальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти»<sup>3</sup>. Человек, сколь бы уединенным он не был в данный момент, никогда не вспоминает один, более того, он, по Хальбваксу, и не бывает никогда один. «Любое воспоминание, сколь угодно личное... соотносится с целым комплексом понятий, которыми обладают и многие другие люди кроме нас, с разными лицами, группами, местами, датами, словами и словесными формами, а равно и с рассуждениями и идеями, то есть со всей материальной и нравственной жизнью общества, к которым мы принадлежим, или принадлежали раньше»<sup>4</sup>. Всякое воспоминание человека связано с конкретными обстоятельствами социальной жизни.

Именно понятие «рамки памяти» является отправной точкой для социологии памяти М. Хальбвакса. Конфигурация этих рамок такова, что позволяет удержать и закрепить в них то, что значимо для идентификации социальной общности, и вытеснить во внешнюю сферу забвения те воспоминания, которые для этого образа бесполезны или вредны. «...Прошлое, — отмечает Хальбвакс, — не возникает вновь неизменным, а... реконструируется исходя из настоящего... коллективные рамки памяти... служат орудием, которым пользуется коллективная память для воссоздания таких образов прошлого, какие в данный период согласны с господствующими идеями данного общества»<sup>5</sup>.

Происходит постоянная «работа реадaptации», каждое новое событие заставляет нас переинтерпретировать всю совокупность наших представлений о прошлом, чтобы гармо-

<sup>2</sup> Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. - М.: Новое издательство, 2007. С. 28.

<sup>3</sup> Там же. С. 28–29.

<sup>4</sup> Там же. С. 71.

<sup>5</sup> Там же. С. 30.



низировать образ этого прошлого, на котором основывается самоидентичность. Воспоминания, способные расколоть социальную общность, устраняются из коллективной памяти. «Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной памяти заключается в обосновании им связи между социальной группой и коллективной памятью. Его положение о том, что каждая группа формирует память о своём собственном прошлом, которая обосновывает её уникальную идентичность, продолжает оставаться отправной точкой для всех исследований в этой области», — пишет Б. Миштал<sup>6</sup>.

Итак, в основе исследовательского проекта, изложенного в «Социальных рамках памяти», положение о связи индивидуальной и коллективной памяти, тезис о внешнем влиянии группы на индивидуальную память. Хальбвакс продолжал работать над этой проблемой и после 1925 года. Однако смерть в Бухенвальде в 1945 году помешала ему опубликовать новую книгу. Оставшиеся тексты были собраны и опубликованы после его смерти под названием «Коллективная память». По сути, книга представляет собой сборник отдельных статей. Критический анализ этих текстов позволяет исследователям реконструировать общие контуры изложенной там социологии памяти и оценить степень ее преемственности по отношению к «Социальным рамкам». Один из наиболее авторитетных и глубоких исследователей творчества М. Хальбвакса Жерар Намер говорит о том, что анализ его текстов позволяет говорить о наличии у французского социолога двух систем социологии памяти. В основе первой, изложенной в «Социальных рамках памяти», лежит идея соотношения памяти индивида и внешних рамок, которые для нее задают социальные группы. Вторая же, связанная с текстами «Коллективной памяти», сконцентрирована вокруг феномена социальной памяти, понимаемой как «поток памяти» (*un courant de mémoire*), как процесс «передачи памяти» (*une transmission mémorielle*) без опоры на группу и не могущую вследствие этого быть названной памятью коллективной<sup>7</sup>. Хальбвакс использует понятия «потоков мысли» («потоков памяти»), которые влияют невидимым и неосязаемым образом, подобно атмосферному давлению. Это — трансоисторические образы и тексты, закрепленные в формах культуры.

Теоретическая схема «Социальных рамок», отмечает Намер, говорит о мнемоническом единстве с внешней точки зрения, «индивидуальная память опирается на память коллективную». На его место приходит другое единство, единство внутреннее. «Между памятью индивидуальной и памятью коллективной возникают отношения, которые можно было бы назвать на зиммелевский манер интеракцией. Виртуальные миры коллективных воспоминаний находятся в моей памяти. Именно моя память, действуя изнутри, следуя своему собственному выбору, идентифицирует себя с различными потоками циркулирующих в социальном пространстве воспоминаний. Индивидуальная память может свободно актуализировать тот или иной поток социальной памяти (*un courant de mémoire sociale*) и идентифицировать себя с ним»<sup>8</sup>. В первой системе социологии памяти Хальбвакс говорит о реконструкции своей памяти благодаря

памяти других. Социальные рамки при этом выступают медиаторами между индивидуальной и коллективной памятью. В «Социальных рамках», отмечает Намер, воспоминание представлено как диалог между внешним миром, который ставит мне вопросы и обязывает искать ответы. Воспоминание становится, таким образом, диалогической практикой. Теперь же, во второй системе, Хальбвакс размышляет о практике внешнего проявления (*le témoignage*)<sup>9</sup>. Если моя индивидуальная память относительно свободно перемещается по мирам значений и символов социальной памяти, то ключевой становится проблема соотношения циркулирующих в обществе потоков значений и смыслов социальной памяти с индивидуальной памятью.

Хальбвакс показывает сложную игру интериоризации и экстериоризации культурных смыслов. Он говорит о том, что «подчинение очевидности внешнего проявления возможно лишь потому, что мы внутри себя уже разыграли всю театральную постановку этого проявления; внешнее проявление и мемориальное сообщество вовне конституированы индивидом, дискутирующим со свидетельствами об объекте памяти, будущи легитимизированы ничем иным, как именно оригинальным опытом общества внешнего проявления, которое вносит нас в нас самих»<sup>10</sup>.

При этом стоит, однако отметить, что механизм функционирования и сущность этих «потоков мысли» и «потоков социальной памяти», состоящих из зафиксированных культурой систем значений в силу фрагментарности высказываний Хальбвакса остается до конца непроясненным и может лишь косвенно реконструироваться и вычитываться из его текстов. Именно здесь, как нам представляется, возникает перспектива диалога социологии памяти М. Хальбвакса и культурно-исторической психологии Л. С. Выготского и его школы.

Анализируя подход культурно-исторической психологии, Дж. Верч отмечает, что основной категорией анализа в рамках данного подхода должно быть «опосредованное действие (*mediated action*), которое осуществляется агентами при помощи предоставляемых культурой орудий». Память и мышление, таким образом, не коренятся в голове индивида, а оказываются «социально распределены» между агентами и культурными инструментами (к числу которых относятся тексты, образы и прочие знаковые системы), опосредующие социально-значимые значения и смыслы<sup>11</sup>. Поэтому социокультурная обусловленность высших психических функций, в том числе и памяти, подчеркивалась здесь не менее решительно, чем в рамках школы Дюркгейма. Думается, что под следующим замечанием А. Р. Лурии вполне мог бы подписаться М. Хальбвакс в своей полемике с А. Бергсоном: «Источники сознательной деятельности и «категориального» поведения следует искать не в тайниках человеческого мозга и не в глубинах духа, но во внешних условиях жизни... мы должны искать эти источники во внешних процессах социальной жизни, в социальных и исторических формах человеческого существования»<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Namer G. Op. cit. P. 123.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Wertsch J. V. *Voices of collective remembering*. — Cambridge, N.Y. et al., Cambridge University Press, 2002. — P.11, 26.

<sup>12</sup> Лурия А. Р. *Язык и мышление* / Цит. по: Верч Дж. *Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию*. — М.: Триво-



Ключевыми для данной школы являются понятия знака и опосредованного действия. «...Знак, пишет Выготский, первоначально выступает... как средство социальной связи, как функция интерпсихическая; становясь затем средством овладения собственным поведением, он лишь переносит социальное отношение к субъекту внутрь личности... История высших психических функций раскрывается здесь как история превращения средств социального поведения в средства индивидуально-психологической организации»<sup>13</sup>. Знаковые системы культуры, развиваясь исторически, управляют человеческим поведением и преобразуют его. Создание человеком искусственного знака, говорит Выготский, — «есть поворотный момент в развитии его памяти», «на место внутреннего развития становится развитие внешнее»<sup>14</sup>. С этого момента развитие памяти становится зависимым от социальной среды. Таким образом, раскрывается механизм функционирования «рамки памяти» и тезис об их влиянии на индивидуальные мышление и память перестает быть декларативным.

Разбираемые Хальбваксом взаимные переходы внутренне-го и внешнего, индивидуальной памяти и потоков значений и текстов, созданных культурой, также точно описаны в культурно-исторической психологии. Характеризуя взгляды Выготского, В. С. Библер писал: «...Процесс погружения социальных связей влбу в сознания, (о котором говорит Выготский, анализируя формирование внутренней речи) есть — в логическом плане — процесс превращения развернутых и относительно самостоятельных «образов культуры», ее готовых феноменов» в культуру мышления... конденсированную в «точке» личности... Социальные связи не только погружаются во внутреннюю речь, они в ней коренным образом преобразуются, получают... новое направление во внешнюю деятельность»<sup>15</sup>.

Таким образом, нам представляется, что именно культурно-историческая психология Выготского и его школы позволяет раскрыть сущность механизмов социальной обусловленности индивидуальной памяти, а также взаимодействие личности и зафиксированных при помощи инструментария культуры текстов социальной памяти.

Переходя к концепции другого основоположника memory studies немецкого искусствоведа А. Варбурга, начавшего во второй половине 1920-х гг. реализовывать программу изучения образной памяти Европы, следует отметить, что переход к анализу социальной памяти Варбург совершил через понятие символа<sup>16</sup>. Символ понимается Варбургом как носитель памяти, след, примета, симптом прошлого. Следы эти сохраняются не в биологической субстанции, как думали физиологи его времени, а в языке жестов и образов, получая, таким образом, возможность социально-культурного функционирования. Методом исследования социальной памяти стала у него поэтика иконология. Конечной же целью иконологического анализа

социальной памяти должна была стать диагностика состояния европейской культуры, предотвращение скатывания ее в бездну архаического дионисийства, утраты рационально-критической дистанции по отношению к миру. Разъяснение истоков образной системы должно, по мысли Варбурга, лишить архаику патогенной силы, угрожающей рациональности культуры.

Социальная память — хранитель образов и жестов человечества. Они таят в себе огромную и потенциально разрушительную энергию, захватывая сознание прикасающегося к ним мастера и заставляя его выражать архаические образы. Повторяющиеся образы большой эмоциональной силы у Варбурга получили название Pathosformeln (формы страсти). Эти «формы страсти» Варбург называет «превосходными степенями языка жестов» (Superlative der Gebärdensprache). Pathosformeln запечатлеваются в стилизованном жесте энергии оргастического коллективного возбуждения архаических культов. Это долгоживущий формосодержащий тип изображения эмоционально нагруженного жеста. «В области оргастического массового возбуждения следует искать некий штамповочный пресс, который с такой интенсивностью отчеканивает память форм выражения максимальной внутренней страсти, насколько только они могут себя выразить языком жестов; эти Engramm-ы ... определяют примерные очертания того, что создаст рука художника, как только высшие ценности языка жестов захотят выступить на свет, выведенные рукой творца»<sup>17</sup>, — отмечает Варбург.

Впервые понятие Pathosformeln вводится в работе 1906 г. «Дюрер и итальянская Античность», в которой Варбург выявил сходство жестов умирающего Орфея на рисунке Дюрера с античными изображениями менад и отметил, что это не просто переходящий художественный мотив, а результат нового переживания архаического дионисийского пласта античной культуры. Входя в контакт с одной из таких «формул», художник попадает в «зону риска» потери дистанции и возврата к изначальному фобическому «патосу». Сильный мастер может справиться с этой опасностью, использовать энергию архаики для новых целей (беснующаяся менада может обернуться Магдаленой, «менады под крестом», например).

С 1901 г. А. Варбург начал создавать библиотеку по теме «Nachleben der Antike», «новое переживание Античности» в истории европейской культуры вообще, и в эпоху Ренессанса, в частности. Его методология предполагала прослеживание в диахронии определённого художественного мотива и соответствующей письменной (философской, научной, литературной) традиции.

Варбурга интересовали не формы и пути сознательного заимствования художественных мотивов. Он хотел погрузиться в глубины «инстинктивного переплетения человеческого духа с исторической материей», проследить то, как архаические жесты овладевали мастером. Обретшие зримый облик в античной пластике «праслова» (Urworte) языка жестов, эти Engramm-ы (Dinamogramm-ы) воздействуют на того, кто с ними соприкасается. Тому, кто сможет ими овладеть и от них дистанциро-

ла, 1996. — С. 45.

<sup>13</sup> Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: «Педагогика-Пресс», 1996. — С. 442.

<sup>14</sup> Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. — М.: Педагогика-Пресс, 1993. — С. 87, 91.

<sup>15</sup> Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. — М., 1991. — С. 111–112.

<sup>16</sup> О том, насколько значимо было понятие символа для Варбурга и его школы, говорит уже то, что философом этого круга был Э. Кассирер.

<sup>17</sup> Warburg A. Notizen zur Einleitung zu Mnemosyne. // Цит. по: Gombrich E. H. Aby Warburg. Eine intellektuelle Biographie. Hamtburg. 1992.



ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич / Aleksey VASIL'EV

| «Осевое время» memory studies: российский след |

ваться, они помогут в создании «пространства мысли». Того же, кто позволит им овладеть собою, они уведут в «бездну риторики», собьют с пути восхождения от первобытного страха к разумному овладению миром. Западная культура должна суметь наладить диалог с опытом своей первоначальной архаики, научиться дистанции по отношению к ней.

В последние годы жизни Варбург исследовал «переживание» античных образов в постренессансном искусстве Европы. На примере «Завтрака на траве» К. Мане он показывал как через Рембрандта возвращаются образы нимф и речных богов с античных саркофагов. Также с этой точки зрения он рассматривал афиши, почтовые маркии т.п.

Сама идея художественного образа как носителя социальной памяти представляется очень плодотворной и перспективной. Однако механизм функционирования художественного произведения как хранилища социальной памяти изложен у Варбурга чрезвычайно спекулятивно и вряд ли может серьезно обсуждаться современной наукой. В связи с этим нам кажется, что более чем удачным дополнением его теории могла бы служить концепция «памяти жанра» М. М. Бахтина. Ведь она касается функционирования художественной формы как хранителя памяти и ее воздействия на мастера. Не вдаваясь в детали приведем лишь несколько высказываний выдающегося ученого. «Литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, «вековечные» тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие элементы архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее обновлению... Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы

в каждом индивидуальном произведении данного жанра... Жанр — представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого развития»<sup>18</sup>. Говоря об архаике в романах Достоевского, Бахтин подчеркивал, что это — не результат индивидуальной памяти писателя, а объективная память жанра. Жанр, по Бахтину, — «представитель творческой памяти в процессе литературного развития», он всегда несет в себе свое прошлое и влияет на любого автора, обращающегося к нему, заставляя так или иначе следовать своим канонам.

Как видим, здесь очень ясно, без спекулятивной метафизики показан механизм хранения и трансформации культурной памяти в рамках художественной формы.

Данная статья была призвана лишь наметить поле дальнейших исследований отечественной традиции memory studies в контексте мировых тенденций. Однако и из сказанного уже ясно, что в «осевое время» становления дисциплины на Западе в России были созданы концепции вполне созвучные работам основоположников по своим задачам. Определенные аспекты внутренней организации и механизмы функционирования феномена коллективной/социальной памяти более удачно были раскрыты именно в отечественных теориях. Представляется поэтому, что было бы правомерно говорить о концепциях М. Хальбвакса / Л. С. Выготского и А. Варбурга / М. М. Бахтина как о взаимодополнительных.

<sup>18</sup> Бахтин, М. М. Жанровая и сюжетно-композиционная особенности произведений Достоевского // М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: «Советская Россия», 1979. С. 121–122.

